

Николай Семенович Лесков

Путимец

Николай Семенович Лесков
ПУТИМЕЦ
Из апокрифических
рассказов о Гоголе

Напечатанные в 1883 году в журнале «Киевская старина» письма Н. В. Гоголя (которые до сих пор оставались неизвестными) пробудили в моей памяти воспоминание об одном устном рассказе, касающемся юношества поэта. Рассказ этот я не раз слышал в пятидесятых годах в Киеве от большого моего приятеля, уроженца города Пирятина, художника Ив. Вас. Гудовского, а он сказывал это со слов другого своего земляка, известного в свое время малороссийского патриота и отчасти тоже немножко поэта — Черныша. Черныш же слышал это от какого-то своего родича, который был знаком и даже, кажется, дружен с Гоголем во время его студенчества в Нежинском лицее. Этого рассказа я нигде не встречал, ни в одних материалах для биографии Гоголя, но также и не смею думать, что он достоин занять там место. Правдивость события, о котором хочу рассказать из пятых уст, мне отнюдь не представляется несомненною, хотя, однако, в этом предании мне чувствуется что-то живое, что-то во всяком случае как будто не целиком выдуманное. А потому я думаю, что это необходимо сбереечь, хо-

тя бы даже как басню, сочиненную о крупном человеке людьми, которые его любили.

Если даже это и целиком все сплошная фантазия (что допустить очень трудно), то почему не послушать, как фантазировали о гениальном юноше его соотечественники.

I

В бытность Гоголя студентом Нежинского лицея старшему Чернышу случилось ехать с ним вместе верст за пятьдесят или за сто от Нежина в деревню в гости к каким-то их общим знакомым [Помнится, будто родственник Черныша, сообщавшего этот рассказ Гудовскому, тоже назывался Черныш. Во всяком случае, для удобства в изложении мы будем звать его этим именем (прим. Лескова)]. К кому именно — не знаю, но ехали они вдвоем, «паркою на почтовых», и в перекладной тележке.

На дворе стоял невыносимый июньский зной, и раскаленный малороссийский воздух был полотой тонкой черноземной пыли, которая умеет пронизать все — обратить путников в арапов, слепить их волосы и запорошить им глаза, нос и уши. Уста пересмяггли, в

груди томящая жажда, а руки нет силы поднять от усталости. Вокруг широко расстилается неоглядная малороссийская степь, и кажется, нет ей ни конца, ни предела. Во всем поле не встречается никакое живое существо; даже мелкие птички, и те, притомившись, пали к хлебным корням, и не видно их там, где они перемогают этот страшный зной огнепалющей печи. Только одни грязные оводы с огромными зелеными глазищами неотступно мычатся над несчастными взмыленными конями и еще более увеличивают их мучительное терзание.

Родич рассказчика сильно измучился и раскис, а потому был не в хорошем расположении духа, но Гоголь, к удивлению его, не поддавался жаре и был, напротив, очень бодр и весел. Он, как известно, любил жару и теперь шутил, говоря, что на таком утреве хорошо было бы раздеться да полежать голому на солнце в горячем просе. Малороссийские сибариты старинного закала бывали большие охотники до этого своеобразного наслаждения, и Гоголю оно тоже нравилось, или он так поддразнивал своего нетерпеливого к жаре

сопутника. Гоголь все мурлыкал песенки, вертелся, подсвистывал на коней, сгонял прутиком оводов и в шутливом тоне заговаривал с ямщиком. Но ямщик на эту пору попался им самый несловоохотливый, и как Гоголь его ни заводил на разговоры, наконец должен был от бесед с ним отказаться. И вот тогда-то его перекинуло на спутника.

Родич Черныша Столько же страстно любил малорусский народ, сколько недолюбливал «кацапов», то есть великороссов. Таких людей здесь было много. И как у нас в свое время были любители говорить местами из «Горя от ума» или из «Мертвых душ», так и у этого была своя любимая книжка — это повесть о том, «как в Туле надули малороссийского паныча». Что бы он ни прослышал из великорусских нравов, на все у него была из той книги готова поговорка:

«Кого наши не надуют».

Этак он и сожалел «кацапов», и похвалял их, и порицал, и как будто вместе с тем радовался, что их уже никто в мире не надует.

«Бо вони мертве теля — и те надувають» (то есть убитого теленка, и того надувают).

Особенно этого чудака раздражало «московское плутовство», о котором он сам, будучи человеком безукоризненно честным во всех делах, как крупных, так и мелких, не мог слышать без душевного раздражения и всегда из-за каждого пустяка в этом роде готов был кипятиться, и кипячение это поддерживал искреннею патриотическою скорбью, «що ті бісові плути, кацапи, наш добрий, хрестьянський люд попсиють».

Утрированная скорбь его, может быть, имела для себя какое-нибудь оправдание.

Гоголь, конечно, хорошо знал эту слабость своего приятеля, и, может быть, потому, что ему хотелось, как говорится, «завести орган», а может, и потому, что он, сколько известно, и в самом деле не разделял крайностей малороссийской нетерпимости, а даже любил «русскую удаль», — он начал по поводу ямщика-малоросса разговор о типическом ямщике великорусском, человеке по преимуществу общительном, разговорчивом и веселом.

— Совсем другое! — восклицал Гоголь, — великоросс совсем другое: с тем всего какой-нибудь один час проедешь — и перед то-

бою вся его душа выложится; вся драма его жизни тебе станет открыта. «Душа нараспашку...» Совсем другое!

А Чернышев родич отмечал в этом расхваливаемом великорусском типе другие, противоположные черты: он указывал на кацапское бесстыдство, попрошайство, лживость, божбу и прочее, чем нас обыкновенно попрекают соседи.

Гоголь очень спокойно, но без пристрастия, делал на это свои возражения и до того раззадорил Черныша, что тот, несмотря на усталость, начал и с своей стороны отвечать горячо и нетерпеливо.

Слово за слово — разговор приятелей перешел в спор, который, по мнению Черныша, Гоголь, очевидно, нарочно путал, чтобы было больше о чем спорить без всякого конца и результата. Черныш это видел и знал, что Гоголю иногда приходили такие фантазии, чтобы подразнить приятеля, но впал в такой задор, что не мог удержаться и продолжал спорить. Да и нельзя было удержаться, потому что Гоголь, по его мнению, стал уже высказывать какие-то очевидные и для пылкого малорос-

сийского патриота совершенно нестерпимые несообразности.

II

Спор особенно обострился на том, кого легче можно культивировать, то есть воспитать и выучить, — хохла или кацапа? Гоголь это расчленял и усложнял очень обширно и, кажется, верно.

О том, что великорусский человек против малорусса гораздо находчивее, бодрее и «мастеровитее», — Чернышев родич Гоголю и не возражал. Напротив, в этой части он ему почти все уступал и говорил, что научить ремеслам и всяким деловым приемам «кацапа» можно гораздо скорее, чем приучить к тому же самому в соответственной мере хохла; но чтобы великоросс мог подать бóльшие против малорусса надежды для успехов душевной, нравственной воспитанности, без которой немислимо гражданское преуспяние страны, — это Черныш горячо и решительно отвергал, а Гоголь защищал «кацапов» и, как Чернышу тогда казалось, «говорил будто бы разные глупости».

— Кацапы, — проповедовал Гоголь, — та-

кой народ...

— Душевредный! — перебивал Черныш.

— Нет, не душевредный, а совсем напротив.

— Надувалы и прихлебалы.

— Да, да, — «надувалы и прихлебалы» и все, что тебе еще угодно, можешь отыскать в них дурного, а мне в них все-таки то дорого, что им все дурное в себе преодолеть и исправить ничего не стоит; мне любо и дорого, что они как умственно, так и нравственно могут возрасть столь быстро, как никто иной на свете. Сейчас он такой, а глазом не окинешь — как он уже и перекинется, — и пречудесный.

— Перекинется из сороки вороною, — оторвал Черныш.

— Почему и для чего вороною? Нет, не вороною, а ясным соколом. У них это так и в сказках. Чудесные сказки! Ведь ты не читал этих сказок!

— Читал или не читал — это все равно: сказки на то и называются сказками, чтобы им умные люди не верили.

Гоголь весело расхохотался и, сделав гри-

масу, комически произнес:

— «Сказки» и «умные люди»... Ой же вы, умные люди! Яки вы поважны да рассудливы. А ти вже, що сказку складали, — ти, видать, булу дурни? А вот же вас и не стане, а сказки останутся. А впрочем, если уже ты такой умный человек, что тебе сказки не по плечу, то читай книги божественные и там то же самое увидишь.

— Какие это именно книги, и что там о твоих кацапах сказано?

— Читай, что писано в «Житиях» о русских святых... Какие удивительные повороты жизни! Сегодня стяжатель и грешник — завтра все всем воздал с лихвою и всем слуга сделался; сегодня блудник и сластолюбец — завтра постник и праведник... Как вы всего этого не понимаете и не цените!

— Зато ты ценишь.

— Да, я ценю, я очень ценю! Я люблю, кто способен на такие святые порывы, и скорблю о тех, кто их не ценит и не любит!

— Не скорби.

— Нет, нет: я не могу об этом не скорбеть! Ты их не любишь, а Христос их любил.

— Кого это: твоих кацапов?

— Да! то есть таких людей, как кацапы, — людей грешных, да способных быстро всходить вверх, как тесто на опаре... Закхей и Магдалина, слепец Вартимей... Над ними явлены чудеса! Только подумай, этот Вартимей... какая, по-твоему, была его слепота? Мне сдается — душевная. Чем он был слеп? — тем, что ничего не видали очи его помраченного ума... И вдруг... одно только слово, одно «малое брение», плюновение на землю, и очи отверзлись... И как широко... как далеко взглянул он. Все роздал — себе ничего не оставил. Чудо! и прекрасное чудо!.. Люблю это чудо, и люблю таких людей, с которыми оно творится.

И уж тут, как Гоголь зацепил Закхея с Магдалиной да этого Вартимея, то знавший его привычки Черныш только рукой махнул и сказал ему:

— Ну-ну, теперь «воссел еси, господи, на апостоли твоя, яко на кони, и мир бысть еждение твое».

Гоголь рассмеялся, но тем не менее все продолжал ораторствовать на свою тему.

Черныш молчал. А тем временем жара и

истома становились еще сильнее, и вдруг, как неожиданная благодать, завиднелись впереди из-за хлебов присельные ракиты над греблей; потом сверкнул верх гнutoго журавля над колодцем, и, наконец, постепенно открылось большое село и при самом въезде в него — колодезь. Здесь была надежда напиться самим и напоить лошадей.

Путники остановили коней и пошли в ближайший дом просить бадейки, чтобы вытащить воды из колодца.

Но попытка была напрасна; бадейки, которою бы можно зачерпнуть воды в колодце, в этом доме не оказалось. Хозяйка, истощенная пожилая женщина, отвечала:

— Мы, выбачайте, люди паньски, у нас ничогисеньки нема.

Черныш сейчас к этому случаю и прихватился.

— Ничогисеньки, говорит, у них нема, — бо они «паньски»... А кто их, бидаков, закрипостив? Ге! то це вона «мать отечества», сия большущая, великая жена, твоя всероссийская Екатерина!

Гоголь притворился, будто не слышит и за-

няют только тем, чтобы «достать ведёрце».

Однако в самом деле они насилу в третьем или в четвертом доме только достали нужное им «ведёрце». Такая была здесь повсеместная бедность! А потом вытащили из колодца такую дрянную воду, что даже при всей великой жажде пить ее не могли. Какая-то совсем белая, соленая и противно отдает ржавым дротом (ржавую проволокою). Хочется пить, что называется «душа мрет, а утроба не принимает». А тут еще в сенях, на земляном полу, лежит лет пятнадцати хлопчик и прежалостно стонет... Такой жалкий, что видеть невозможно без душевной муки. Тощий и «притомленный», он словно ждет кончины и томится в мучительной огневице: мух от себя отогнать даже не может, а между тем говорит с тихим юмором:

— Ага! що?.. бачите, яка у нашої кринички добра водичка! Наша криничка глибока, та и припогановата... А вы з нии лучше не пиите, а идти по тий бок села до кацапа...

Путники спросили у больного мальчика: что же, у кацапа есть, что ли, колодезь с лучшей водой? А тот им отвечает, что колодезь

там есть и вода в нем получше, но только и тот колодезь не годится, потому что в него «кошка упала, да еще не высвячена», но зато у того кацапа, говорит, есть корова, и ее году-ют (кормят) молодым лопухом да свекольным листом, и она с того доброго корму дает молоко самое белое-пребелое и такое вкусное, что и сказать невозможно.

— Вот, — добавил больной хлопчик, — вы лучше того молока попейте, так это добре буде, бо воно стоить у него у холодном погребу в поливьяных глечиках, пид камнями... Так в нем и дух и смак есть, да такой смак, что и сказать нельзя, а если жадной душою в такую жару человеку целый глечик выпить, то враз ему столько много силы прибудет, что потом хоть отбавляй — девать некуда.

Так хорошо и так уж слишком внятно рассказывал им мальчик об этом молоке, что видно было, как он живо чувствует все прелести и всю силу животворного напитка и в то же время как недостижимо представляется для него самого такое необъятное блаженство.

— А ты сам не пьешь молока? — спросил

его Гоголь. Мальчик молча покачал слабою головкою, а потом улыбнулся и проговорил:

— Ще того здумали! Молока пить! Ось, ба-
чите, яке наше сніданье.

И он показал на стоявшую возле него грязную чашку, где мокла в воде черствая корка ржаного хлеба, над которою жужжали мухи.

— А у вас своей коровки нема?

Мальчик посмотрел недоуменно и отвечал:

— Яки в нас коровы!.. у нас и козы жидивской, и той нема, — мы крипаки (то есть крепостные).

Гоголь поморщился, достал из вязанного кувшинчиком кошелька монету в два польские злота, подал ее хлопцу и сказал:

— Попей, хлопче, молочка на здоровье.

Хлопец поблагодарил и, приподнимаясь, чтобы показать панам, «де ихать до кацапа», прибавил, что данных ему «грошей» ему «достачить як раз на шесть глечикив», то есть на шесть кувшинчиков. А отсюда, значит, просто приходилось вывести, что у кацапа глечик, или кувшин молока, стоит десять грошей, или пять копеек на серебро.

Это по тогдашнему времени совсем не было в здешних местах дешево, потому что и еще двадцать лет позже не только в Нежине, но и в самом Киеве глечик превосходного, розового топленого молока с коричневою, грибочком вздувшеюся пенкою, стоил три, а иногда даже две копейки. Следовательно, кацап брал за молоко еще дорого, и он брал такую дорогую цену потому, что мог не церемониться, ибо между бедными «крипаками» ему не было никакого соперника. [Читатель напрасно стал бы удивляться и сравнивать с этим описанием быт некоторых крепостных в Великой России. «Крепачество» в Черниговской губернии, особенно у господ мелкопоместных, было гораздо ужаснее, чем в русских губерниях, — тем более что у здешних крестьян нет никаких промыслов (прим. Лескова).]

Так молодые путники и распростились с больным хлопцем и поехали по селу к кацапову дому. И как только они отъехали от «притомленного» больного, так Черныш опять заговорил Гоголю про Екатерину, а Гоголь слушал, улыбался и, обняв приятеля, запел ему потихоньку:

*Ой, у поли озерце,
Там плавало ведёрце:
Кохаймося, сердце!*

— Кохайся про те сам с собою, а не со мною, — отшучивался Черныш, но Гоголь все пел и шутил неудержимо.

III

Кацапов дом, на который издали указал мальчик, стоял, как сказано, в противоположном конце села, и это был такой чисто кацапский дом, который легко можно было отличить от всех соседних малороссийских крестьянских хаток. «Кацап» держал в аренде трактовый постоялый двор, выстроенный по русскому образцу, с коньком, на две половины, и ни вокруг, ни около его не было ни вербы, ни груши, ни вишневого куста, ни лозиночки, словом — ни одной веточки, где бы свила себе гнездышко щебетунья птичка или присел в тиши помечтать и попеть серый соловушко.

Перед крыльцом травка вытоптана и в нескольких местах в пыли вырыты курами глубокие ямки; тут же вбит в землю небольшой, сверху расщепленный колышек, а возле

него опрокинуто расколотое грязное корытце, которое с нетерпеливым визгом толкает при-
вязанный за ногу полугодовой поросенок...
Другой, постарше, ходит на свободе и хрюкает
безумолчно... Двор полураскрыт, и по одну
его сторону торчит высокая куча навоза, из
которой кое-где сверкают обрывки выветрен-
ных лоскутьев и тряпок, а по другую — видно
выпаленное место. Здесь, по древнерусскому
обычаю, высыпают из печи горячий пепел и
золу, «пока бог грехам терпит», и двор, молит-
вами святых угодников, не загорается.

Словом — дом и двор вполне в известном
великорусском вкусе, чего лучше не надо тре-
бовать.

Стали наши путники перед крыльцом и
только что хотели встать с телеги, как на
«гайдарею» выходит хозяин, очень красивый
старик, лет, может быть, шестидесяти двух-
трех, или еще с хвостиком, но еще очень бод-
рый и здоровый, глаза голубые навывкате, в
левом ухе серьга, а брада Аарония — во всю
грудь, так по красной касандрийской рубахе
и расстиляется.

— Смотри, смотри, что за красота! точно

Гостомысл! — шепнул приятелю Гоголь.

— Да, это у них бывает, — отвечал тот, — по браде Анания, а по душе каналаия.

— Ну вот уже и «каналия»! Глупо это, — отвечал Гоголь и, оборотясь к Гостомыслу, весело спросил:

— Молочко есть, хозяин?

— Как не быть, — про то заезд держим.

— Давайте же нам сюда скорее вашего молочка!

— Молочко не наше, а коровье, — не спеша прорезонировал Гостомысл.

— Ну, коровье так коровье: давайте коровьего. А ведь коровка ваша?

— Корова наша.

— Ну, и давайте.

Красивый старик сам не тронулся с места, а только крикнул:

— Егорка!

Появился красивый паренек лет шестнадцати.

— Слазь в погреб, принеси молока, — приказал ему старик.

Тот ушел.

— Это ваш сын? — спросил Гоголь.

— Внук.

Подали молоко; оно, быть может, и не об-
ладало всеми теми восхитительными свой-
ствами, про какие рассказывал больной хло-
пец, но все-таки было холодно и вкусно и на
нестерпимую жажду показалось так хорошо,
что Гоголь как припал к горшочку, так уже с
ним и не расстался, пока не выпил его до дна.
Для спутника его потребовался другой кув-
шин, который на погребѣ у дворника тоже на-
шелся, а пока этот второй кувшин подали и
пока Черныш его выпил, Гоголь, находясь все
в том же веселом ударе, разговорился с хозя-
ином: давно ли он здесь, откуда родом и как
идут его дела, и пр., и пр.?

Почтенный Гостомысл на все отвечал не
спеша и с повадкою, а на вопрос о том: «отку-
да», — он коротко молвил: «путимец». Это
слово страсть как понравилось Гоголю — все
равно как Ивану Андреевичу Крылову
некогда понравилась «добрая» фамилия куп-
ца Блинова, который, впрочем, оказался боль-
шим вымогателем и задумал «обовязать» по-
койного баснописца миллионной распиской.

— «Путимец»! «Путимцы»! — повторял

вполголоса, обращаясь к Чернышу, Гоголь. — Какие хорошие звуки! И как у них все это кстати. Не намеренно, но кстати: человек «путимский», и вот он сел и сидит при пути, и кому надо этот путимец сейчас услужит вот так, как нам, а проезжим людям, которые в этом нуждаются, хорошо. При путях сидят «путимцы». Честное слово — это прекрасно! А при том ведь эти путимцы народ исторический: они ведь, как «куряне ведомые — то кмети», — еще в «Слове о полку Игореве» упоминаются. Встарь они Ярославну оберегали, слышали ее стоны и вздохи, а нынче сошли на другое, сидят на путях дворниками, и все ничего: везде эти ведомые кмети пригодны...

И затем, прервав этот поток исторических воспоминаний, Гоголь весело обратился к дворнику и спросил:

— А сколько, почтенный господин хозяин, ваша милость с нас бесчестья за свое молочко положите? — и с этим сам уже опустил пальцы в кошелек, чтобы вынуть оттуда маленькую монету.

Путимец не торопился ответом и, слегка потягивая себя за сережку, начал было опять

про то, что подавал им молоко не свое, а коровье, но Гоголь его остановил и сказал:

— Ну да — хорошо, «коровье», а сколько же надо отдать за это коровье молоко?

— Да что с вас... давайте хоть один рубль; и то будет.

Гоголь молча поднял на дворника глаза, и на устах его заиграла презрительная улыбка, но он сдержался. Зато Черныш вспылил не на шутку, стал нетерпеливо «лаяться», называя дворника мошенником, грабителем и всякими другими пристойными случаю именами.

Гостомысл нимало этим не смущался и все тихо доил себя за серьгу и, наконец, молвил:

— Нечего, баре, сердиться: умней бы были, так, не спрося цены, не пили бы. А теперь чего сердиться? Это ведь не носильное, с плеча не снимешь, а съедобное — проглотил, и назад уже негде взять. Ведь я вас не Христа ради поил; не снятым молоком, а цельным. Ноне день-то вона какой — жар печет, молоко киснет. О такой поре кубан молока самим хозяевам для забелки во шти дороже полтины кувшин стоит, а вы два кубана выпили да за один рубль такой спор заводите! А еще дворя-

не!

Черныш весь задрожал от этой наглости и вызывающих дерзостей, но Гоголь схватил приятеля за руку и «на милость бога» молил ни слова не говорить и не трогаться, а предоставить ему одному «все удовольствие» разделиться с милым Путимцем.

— На милость бога! на милость бога, не вмешивайся! Сделай мне такое одолжение, позволь из него такого дурня устроить, который сам себя высечет!

Черныш гадливо отвернулся и сказал:

— Ну тебя с ним! делай что хочешь.

Гоголь тотчас же обратился к Путимцу и преспокойно заговорил к нему.

— Не обижайтесь, пожалуйста, господин хозяин, на приятеля: он у меня всегда такой сердитый — не разберет, да и сердится. Вы ведь это, кажется, за два кувшина рубль спрашиваете?

— Знамо, что за два, — вы два выпили, я по полтине за штуку и спрашиваю; всего за два — один рубль.

— Ну вот то-то и есть! Я так и понял, что за два один рубль. А он думал, что вы за каждый

гличик по рублю хотите... Это было бы дорого, а рубль за два... вот вам, возьмите рубль, возьмите... И еще спасибо вам на этом, потому что в том селе, которое мы раньше проехали, с нас по пяти золотых (75 коп.) за кувшин взяли. И везде, везде теперь так берут, а у вас всех дешевле, Спасибо вам на этом, большое спасибо!

И с этим они уехали.

А Путимец, на которого Гоголь несколько раз оглядывался, все стоял и как взял в руки серебряный рубль, так на той же ладони и держал его, — очевидно, жалел, что взял дешево.

Гоголь был очень доволен и, улыбаясь своей тонкой улыбкой, не обращал ни малейшего внимания на то, что ему говорил Черныш и даже хранивший до сих пор молчание ямщик. А теперь даже и этот говорил, что «бисова кацапа стоило бы добре выбить».

IV

Едучи далее, Черныш несколько раз принимался рассуждать, как такой паук должен бедного пахаря грабить, и укорял Гоголя: зачем он позволил этому наглому человеку так

грубо обмануть себя, но Гоголь все продолжал улыбаться и на все укоризны твердил одно:

— А ты погоди — он покается. Ты увидишь, зачем я так сделал, — я сделал это для того, чтобы он покаялся. Ты увидишь — глупо это или не глупо!

— Разумеется, преглупо, — спорил Черныш.

— Ну да это еще пан писарь знает да другие люди письменные, — отвечал Гоголь, — а ты погоди, братику! — погоди! — Он покается.

И Гоголь начал разводить рацеи о том, что никогда не нужно отчаиваться в раскаянии человека и не стоит самому ссориться и биться, а надо так сделать, чтобы человек сам себе получил вразумление от своего характера, чтобы он сам себя наказал за свою гадость.

— Как же это он сам себя наказывать будет? Он карбованца взял, да и рад теперь, что дурня встретил.

— Ну нет, — ошибаешься, он уже и не рад; он и теперь уже скучает, что мало взял, а дурни-то будем не мы, а он, потому что он сам себя за нас бить будет. Непременно! непременно сам себя бить будет. И вот, знаешь, — мне

его теперь уже даже и жалко становится, потому что я над ним черт знает какую штуку подстроил. Ужасную штуку!

— Никакой.

— Нет — ужасную! Вот ты увидишь!

Черныш перестал возражать.

Путники еще раз сменили лошадей и приятной вечерней прохладой доехали до имения своих знакомых. Здесь им, разумеется, были очень рады, встретили их весело, с добрым малороссийским гостеприимством, и оживленная беседа шла до позднего сытного ужина. Перед ужином Гоголь ходил с хозяйкою в детскую смотреть, как «молят бога» [Помалороссийски говорят так: «молите детей бога», то есть «поучите детей молиться богу». (прим. Лескова).] и укладывают спать детей. Молящиеся дети и молодая мать или умная, благочестивая няня, руководящая детской молитвой, диктуя им слова прошений к творцу миров, всегда нравились Гоголю и прекрасно его настраивали. А потому в коротко знакомых домах он просился в детские, и ему, разумеется, не отказывали.

В данном случае и в данном месте глав-

ным кормицником детского корабля была няня — давняя знакомая Гоголя, орловка, понятливая, умная и с поэтическими замашками. Гоголь не раз выпрашивал у нее, чтобы она диктовала ему орловские прибаутки и песенки, и записывал их. Так и теперь — он сначала смотрел, как чинная старушка «молила детей богу», а когда детей уложили в их постельки, он с тихого няниного пошепта записал песенную шутку про «блошку», о том, как:

*Блошка банюшку топила,
С золой щелок щелочила,
Жарко парилася,
С полка вдарилася,
Себе боком —
Ненароком
Ребро проломилла,
Крысу задавила.*

Потом он ходил на поляну, где под развесистою березою танцевали после ужина наемные паробки и дивчата; потом, наконец, сам ужинал, а ужин в малороссийском хлебо-сольном доме составляет дело не скорое и не легкое. После ужина опять долго сидели на балконе, который выходил в старый тени-

стый сад и был окружен большими клумбами роскошнейших роз, разливавших тонкий раздражительный аромат; а потом разошлись далеко за полночь.

Во все это время о дорожном происшествии с молоком у Путимца ни одним из приятелей не было сказано ни одного слова. Черныш хотя и имел в этом случае достаточный повод потрунить над своим оригинальным товарищем, но не сделал этого. Он замечал, что в рассказанном нами ничтожном событии, которое Гоголь вначале принял очень легко и даже весело, в существе заключалось для него нечто неприятное, нечто столь тяжелое, что он почти страдал от этого. С ним такие вещи бывали, и потому Черныш не хотел заводить речи о неприятном. Ему казалось, что еще когда они подъезжали к дому, то Гоголь «якось так на него очима зиркнув», как будто просил, чтобы об этом не говорить при посторонних. Черныш думал себе:

«Вот какой чудак! — что ему такое этот жадный мужик?» А однако из деликатности он все-таки исполнил немую просьбу Гоголя и хранил о Путимце молчание.

На ночь приятелей поместили обоих вместе в очень просторной, даже огромной бильярдной комнате на мезонине. При комнате опять был небольшой балкон, выходявший в тот же самый сад и над теми же самыми клумбами благоухающих роз.

Дверь на балкон была отворена, и оба приятеля условились, чтобы ее на ночь не закрывать, потому что и теперь все-таки было еще довольно жарко.

Им прислуживал Харитон, старый слуга, которого все в доме уважали и которого давно знал и любил Гоголь.

Харитон был человек набожный, благочестивый и кроткий, и Гоголь находил удовольствие с ним беседовать.

Черныш сразу же разделся и лег в постель, а Гоголь облачился в поданный ему очень широкий и длинный хозяйский халат из белого пике, который был ему очень длинен и волочился за ним шлейфом. Чтобы было несколько половче, Гоголь подпоясался своим большим красным фуляром, выдергал вверх буфами полы, надел на ноги желтые хозяй-

ские шлепанцы и вышел на балкон, а потом исчез к Харитону и долго о чем-то с ним разговаривал. Потом опять прошел на балкон и оставался тут так долго, что Черныш уже успел заснуть. Но вдруг он был пробужден появлением Гоголя, который тихо подошел и уселся у него в ногах, на его постели.

— Что тебе нужно? — спросил Черныш.

— Извини меня, — отвечал взволнованно

Гоголь.

— Отчего ты не спишь?

— Не могу.

— Нездоров, что ли? — объелся раков за ужином.

— Нет... не шути... никакие раки, а моя душа...

— Что там еще с твоей душою?

— Я был очень легкомыслен... я сделал дурное дело. Это невозможно так оставить: я сейчас должен уехать,

— Куда, зачем и на чем?

Гоголь назвал село, где была встреча с Путиным.

— Опять про него!

— Не могу... я не обдумал и поддался дрян-

ному искушению... Не могу...

— А ну его к черту! Я спать хочу.

— Нет, ты сделай милость, послушай... Я мог над ним пошутить, но я устроил над ним слишком злую... слишком злую насмешку... а у насмешника всегда бывает дрянное сердце. Это мучительно!

— Ничего я не хочу об этом слушать, это мне и днем вволю надоело.

— А может быть, он до сих пор уже что-нибудь претерпел.

— И прекрасно — он того стоит.

— Полно, пожалуйста! он старик.

— А черт ли мне до него, если он до старости все подлецом дожил.

— Но ведь еще, значит, не пришло его время: он покается.

— Черт ли мне до него — когда он задумает каяться, — может быть, перед смертью.

— А хотя бы и перед смертью. Нет, я должен был поступить совершенно иначе.

— Непременно; я тебе это самое и говорил: ты должен был бросить ему гривенник и не мешать мне толкнуть его с телеги ногой в брюхо.

Гоголь в ответ на это упрекнул приятеля в грубости и насилу позволил убедить себя, что будить теперь хозяев и поднимать весь дом для того, чтобы ехать к какому-то нахальному и жадному мужику, было бы чистым безрассудством. Но, наконец, резкие и сильные доводы Черныша на него подействовали, и он отложил свое намерение спасти Путимца и рассмеялся, когда Черныш сказал ему, что тот «сам спасется».

— Да, да; вот это пожалуй — он сам спасется. Ты это попомни.

Успокоясь таким образом, Гоголь даже сам находил, что затеять ночной отъезд было бы очень неуместно, но, однако, успокоился он не совсем и не шел спать, а продолжал разговор, толкуя о различии между шуткою и насмешкою, которой он себе не мог простить, и был немилосерден к себе за то, что уверял Путимца, будто молоко стоит даже дороже полтинника. Это, по его мнению, имело именно характер насмешки, желание сделать другого человека дураком. Он пустился в ученые рассуждения, приводил мнения о насмешке Тацита и Лабрюйера и вообще удивил приятеля,

обнаружив перед ним, что он давно и много думал об этом. Особенно его давило мнение Тацита, что «насмешки оставляют в уме смертельные уколы и ничего не исправляют»; потом он переносился к сатире, которая «должна нападать прямо на нравы», цитировал Вольтера и Декурсея, говорил о способностях разных народов различать насмешку и сатиру, о народе и о народах, об обязанностях тех, кому больше дано и с кого больше взыщется. Появилась в ночной тишине критика известного выражения *Nominem homini deum esse* (человек — бог для человека), и потекли доказательства, что в этом выражении нет ничего нескромного и ничего неблагочестивого.

Гоголь развивал мысль: как один человек с добрым настроением способен принести добро другому, доказать ему безобидно его недостойнство и подвинуть его на лучшее. И вот такой-то человек и есть ангел, или, в известном смысле, «бог для человека».

Черныш сквозь сон с трудом все это слушал и потом совсем заснул и не заметил, когда Гоголь от него удалился, но когда ему через некоторое время случилось проснуться,

то он увидал, что постель поэта пуста. Черныш приподнялся и, к удивлению своему, увидал, что Гоголь по-прежнему опять пребывает на балконе, но только теперь он уже не шаркал в ажитации желтыми шлепанцами, а стоял в том же белом халате на коленях, сложенными на груди руками, с низко упавшею на груди головою.

Он молился... О ком: о себе, о Путимце, о России, которую он так чисто любил и так нежно защищал, меж тем как она «была черна неправдой черной»...

Но тогда тем более причин было о ней молиться...

Густо-синий фон неба, на котором с вечера так ярко горели крупные украинские звезды, теперь уже бледнел; тянуло свежей росой, и с дальних ставов слышалось пиликанье предвещающего рассвет удода.

В этом прошла вся ночь, после злой насмешки, которой в самом деле суждено было иметь очень серьезные и неприятные последствия для Путимца.

VI

Прошло сколько-то дней: никаких сцен из-

за Путимца у приятелей не повторялось. Гоголь о нем словно забыл: он был весел, шутил, гулял, бегал с детьми по садам и рощам и даже пускался танцевать с деревенскими дивчатами или иногда «сам с собою в паре». Последнего рода танец происходил под собственную же музыку, состоявшую из немудрого напева очень краткой песни:

*Танцуй, танцуй, мий Матвию!
Матвий каже — я не вмию.*

Тут было начало, тут и конец этой танцевальной песни. Но как всем удовольствиям и радостям на свете бывает везде конец, то молодым людям настала пора возвращаться в Нежин.

Ехать надо было опять через то же село, где сидел при своем постоялом дворе Путимец.

На этот раз погода была совсем иная: жар не томил и жажда не мучила, да хоть бы и захотелось пить, так путники от того не потерпели бы: добрые хозяева отпустили гостей «як слид по закону», то есть не только хорошо их накормили, но и положили им в ноги в по-

возку все, что заведено класть «по некоему древнему установлению», то есть сунули плетунец с двумя парами той наливки, которую в оные счастливые дни в Малороссии пивали вместо черт знает какого московского квасу, от которого «только в животе тарахтит так, что аж на душе смутно диется». Если бы дорогой Чернышу и Гоголю захотелось пить после жареных «ковбасок», то им было что пить, да еще такое вкусное, что «все пальцы осмокчешь». Тут и сливянка, и вишневка, и персиковка, все с давлеными косточками, от которых такой тонкий дух сшибает, как будто перед самым носом прошла самая деликатная панночка с раздушенным платочком в белой ручке. Вынь бутылочку, хлебни, да вот он и рай Богометов. Лучше уж ничего и быть не может даже в самой Малороссии.

Однако, несмотря на весь этот богатый и роскошный запас освежающего питья, как только молодые паньчи въехали в село, где сидел в своем постоялом дворе Путимец, Черныш сейчас же велел ямщику подвергать к «кацапову дому».

— Тогда, — говорил он Гоголю, — ты сделал

над ним злую насмешку, а я теперь сострою с ним добрую шутку.

Шутка эта должна была состоять в том, чтобы опять спросить у кацапа молока и молоко без торгу выпить и заплатить за него дворнику только один гривенник, то есть столько, сколько оно действительно стоит, а потом махнуть по коням и уехать.

Гоголю самому эта затея понравилась, да и вслушавшийся в разговор приятелей молодой ямщик тоже одобрял ее.

Бравый и веселый паробок тоже, очевидно, имел свои причины к неудовольствию на «жадивного кацапа» и выразил горячее желание оказать панычам все свое содействие, чтобы его проучить. Но только паробок, как человек более непосредственный, шел дальше панычей: он думал так, что кацапу совсем недостойно давать и гривенника, потому что «на що ему, коли у него свий гривенник есть?» А следует просто молоко у него выпить, а пустой горшок ему об голову кинуть да потом «так по коням шаркнуть, щоб аж земля затарахтела. Нехай бежит, догоняе, пока очи повылизут». Гоголя этот план рассме-

шил, но на осуществление его приятели, однако, не согласились, а положили сделать смирнее, то есть гривенник отдать, а потом уехать.

VII

Сговорились таким образом путники и подъезжают к постоялому двору, а Путимец, как на их счастье, тут и есть. Словно ждет их — сидит на крыльце, но только на этот раз не столько важный, а как будто больше задумчивый, но на Гостомысла все-таки похож. Сидит, наклонив немного вбок голову, и для какой-то надобности держит рукою у левого уха свернутое в комок полотенце.

Гоголь как увидал своего фаворита, так сейчас же у него на лице заиграла улыбка, и он опередил своего товарища: он сам поздоровался с Гостомыслом и спросил: «як його бог милуе?»; но Путимец отвечал на приветы сухо и неохотно.

— Що-то есть! или вы, дедушка, нас не узнали, что и говорить с нами не хотите? — воскликнул Гоголь.

— Узнал, чего не узнать-то? — также нехотя и мрачно отвечал, не трогаясь с места, Пу-

тимец и сейчас же бесцеремонно добавил: — а говорить... про что нам говорить? Не про что.

— Да вот вам, кажется, будто нездоровится?

— Ну так что же, хоть и нездоровится; нешто вы лекаря?

— А может быть, и лекаря.

— Ну-у!

Он махнул свободной рукой и отвернулся.

— Мы у лекарей не лечимся.

— И то хорошо; но что же с вами такое? Что у вас болит? Голова?

— Ив голове болит, и возле головы болит. А вам что надо-то?

— Отчего же это у вас разболелось?

— Ну вот, еще «отчего?» Разве она сказывает, что ли, отчего она болит? Может быть, от праздника.

— От какого?

— От какого? Что ты такой любопытный? Вы ведь вот, смотри, куда-нибудь ездили на праздник, а таким же манером мог у меня и свой праздник быть.

— Это ваша совершенная правда. А молоч-

ко теперь у вас есть? Нам очень понравилось ваше молочко.

— Не наше, а коровье.

— Ну что про эту глупость спорить!

— Какая же в этом глупость — мы сами не дойны, а корова дойна.

— Ну, хорошо, хорошо, — корова! Вы очень хорошо меня поправили; молочко от вашей коровки превкусное, и мы вот опять заехали, — дайте нам по кувшинчику!

— Можно!

Путимец встал и, придерживая ухо ручником, пошел в сени, а Гоголь вслед ему крикнул:

— И знаете: у вас молоко очень недорого!..

Говоря это, он толкал локтем соседа, чтобы тот не вмешивался, а сам тянулся с повозки, желая расслышать, что в ответ на это молвит Путимец. Но тот распорядился самым неожиданным образом и сразу разрушил всю умышленную против него затею,

VIII

Молодые люди слышали только, как Путимец в сенях громко позвал внука, того же самого Егорку, который их угощал ранее, и ве-

лел, чтобы он вынес кувшин молока.

Явился Егорка и принес молоко, но сам Путимец более уже не показывался.

— А где же твой дедушка? — спросил Гоголь.

— А на что он вам нужен?

— Да так, — ни на что не нужен.

— Он в избе сидит, — отвечал Егорка.

— Отчего же он к нам сюда не придет?

— А зачем ему выходить?

— Да так... просто!

— Не хочет.

— А почто так не хочет?

Егорка помолчал и потом, вода за щекою языком, неохотно молвил:

— Да зачем ему надобно выходить?

— Деньги с нас взять за молоко.

— Давайте — я возьму.

— Сколько же тебе дать?

Егорка немножко помолчал и потом молвил:

— Это все одно.

— Что это такое: все одно?

— Я деньги возьму.

— Да сколько?

— Сколько дадите.

— А я вот тебе гривенник дам.

— Ну так что ж...

— Довольно это будет?..

— Довольно.

Черныш и Гоголь переглянулись.оборот выходил неожиданный и совершенно безэффектный. Гоголь подал мальчику двугриденный, и они поехали.

Мало того, что затеянная проделка с Путищем не удалась, но теперь еще явилась забота ее разгадывать.

— Что это за чудо такое с ним поделалось! — заговорил, отъезжая, Гоголь.

— А це певно таке чудо над ним поднялось, — отозвался с облучка паробок, — що мабуть кто-сь сего бисова кацапа добре по морди набив або по потыльци ему наклав.

— Кто же его мог побить?

— А бог цирковный его знае!..

— А ты наверное ничего не слыхал, что его били?

— Ни, я не чув, а тильки бачите, що вин такий добрый зробився.

— Но кто же его мог бить в его собствен-

ном доме?

— Еге! чи-то мало панов туточки скризь по шляху издят. Може, який войсковий ихав да и набив. Войсковии на се добре швидки от разу.

— Вот, вот и есть! вот и есть! — воскликнул Гоголь, хватая Черныша за руку, — ты увидишь, ты увидишь! — И сейчас же, не проехав села, он велел подвернуть к той хатке, где они в прошлый проезд видели больного «притомленного» хлопца с его убогим «харчем».

IX

Хлопец опять лежал, как и в тот раз, на том же земляном полу без подстилки, а возле него, как и тогда, стояла та же скамейка и «снеданье». Харчи помещались в той же «польвьяной мисочьке», но только это были уже харчи значительно улучшенные: хлебные корки теперь у него плавали в молоке, а не в воде из той кринички, что весьма «глубока да припогановата».

Хлопчик в эти несколько дней как будто поправился. Он сразу же признал облагодетельствовавших его добрых панычей, а панычи зато узнали от него прелюбопытную исто-

рию, которая случилась с Путиным. Действительно, с ним случилось происшествие в том самом роде, как угадывал ямщик: ехали два офицера, спросили себе молока и выпили оное также без торгу, как Черныш и Гоголь, а когда дворник потребовал с них рубль за кувшин (по тому, что ему наговорил в насмешку Гоголь), то военные, как люди на руку весьма скорые, тотчас же его жестоко за это оттузили.

Мальчик рассказывал все подробности, что и глечик пустой кацапу об голову разби-ли, а больше всего ухо ему скризь так порва-ли, що аж и серьга выпала.

.....

— А что! а что! Вот и есть, вот и есть! — заговорил опять Гоголь. — Вспомни, что я тебе ночью говорил! Я говорил, что он сам себя прибьет, вот он уже и прибил... и как больно прибил...

— Подлец, — подсказал Черныш.

— Да я ж тебе кажу: он старый! Он покает-ся.

— А я кажу: подлец, и никогда не раскает-ся.

Гоголь посмотрел на товарища и молвил:
— Сам будешь старый!

И, проговорив это, поэт сразу же задумался и упорно молчал всю дорогу до самого Нежина. Чернышу показалось даже, как будто у него несколько раз наворачивались на глаза слезы.

— Что тебе, жаль его, что ли? — осведомился Черныш.

— Да, жаль, — отвечал Гоголь и, «размахнув руками, як крыльями, навкруг во вси стороны», добавил: — понимаешь... мне жаль всех их... всех... Они все так... сами себя выбьют.

— То есть — эта вся кацапузия сама себя прибьет?

— Да, да. Не смейся надо мною: я об этом готов плакать!

— А зачем ты сам нашутковал этому Путимцу, что он такой-сякой, и добрый, и хороший, что может без ущерба даже хуже сделаться? Вот он и взаправду поверил и еще больше оскотинился, а тут его и набил такой, что сам палки не стоит.

— Да я же тебе про это и говорил! Мне ж

это и было страшно!

И Гоголь отворотился и несколько раз повторил:

— Горе мужу-льстецу! Горе устом, говорящим лукавое!

Х

Через несколько дней, когда Черныш совсем уже и не вспоминал про Путимца, Гоголь признался ему, что все эти пустяки произвели на него сильное впечатление. Во-первых, его ужаснуло — как точно и как скоро исполнился в шутку им затеянный план, чтобы жадного вымогателя проучила чья-нибудь чужая суровая рука; а во-вторых — Гоголь во всем этом видел происшествие не случайное, а роковое откровение, и притом откровение, имеющее таинственную цель просветить его именно ум.

Один кацап давал ему повод к широким обобщениям: — Так всем, так всем, — говорил он, — можно бог знает что наговорить и отъехать, как мы с тобой отъехали, обонять благоуханные розы, а тогда кто-то неожиданный подъезжает, слышит самообольщенную глупость и... рвет из уха золотую серьгу... Это

скверно; нужен здоровый смех, нужно обличенье в душевной мерзости...

И, бог весть, не от сей ли поры, не с этой ли встречи с Путимцем пошли клубиться в общих очертаниях художественные облики, которые потом в зрелых произведениях Гоголя то сами себя секли, то сами над собою смеялись. А о Путимце он все-таки заключил, что он «непременно раскается и хорошо кончит».

XI

Кончина Гоголя в Москве последовала 21 февраля 1852 года. В России о нем тужили только люди, умевшие понимать его литературное значение, но в Малороссии его оплакивали люди даже самой обыденной образованности. Тут все переболели сердцем, читая весть про душевные муки поэта, начавшиеся для него томлением, которое предшествовало и, может быть, частью вызвало «Переписку с друзьями». Из малороссов Белинскому многие не только не сочувствовали, но даже сердились па него за его злые нападки на «совратившегося Гоголя». Эти нападки и особенно суровость, с какою они высказывались, земляки поэта считали «весьма немилосердны-

ми», и, кажется, они имели достаточные причины так думать. Во всяком разе здесь Гоголя любили не только как писателя, но и как своего человека, которому готовы были простить и несравненно бóльшие вины, а не то, за что против него ополчился Белинский. Рукописные копии письма Белинского к Гоголю ходили по рукам и в Малороссии, но они не возбуждали никакой желчи против поэта, да и не все понимали, о чем тут идет дело. Скорбь о Гоголе в Малороссии была всеобщая, а имя Белинского почти все произносили с раздражением. Места, которые напоминали о Гоголе, получили некую святость; людей, которые его лично знали и с которыми о нем можно было поговорить, слушали с особым уважением. Словом — это были минуты действительно глубокой национальной скорби.

Приятель, сообщавший мне в пятидесятых годах рассказываемое здесь сегодня предание, упоминал, что в то время, когда его земляки предавались общей скорби о Гоголе, многим из них просто невмочь было сидеть одному с глаза на глаз с мыслию, что «его уже нет», и все тогда охотно посещали друг друга, чтобы

вместе потолковать и потосковать.

Чернышев родич в эти дни навестил тех своих знакомых, на дороге к которым сидел Путимец и у которых был в комнатных услугах старый, а теперь уже престарый Харитон.

Так как поездка на сей раз была в мартовскую ростепель, то в молочных услугах Путимца надобности не было, но приятель, полный воспоминаний о друге, пожелал взглянуть и на Гостомысла или по крайней мере справиться: живет ли он и начал ли «хорошо кончать» и каяться. При подобных сочетаниях является такое любопытство. Отчего и зачем «собака, кошка, мышь жива, а нет Корделии»? Какими соображениями какой высшей экономии оправдывается, что «нет великого Патрокла — жив презрительный Терсит»? Хочется взглянуть и на Терсита. Гоголь умер в молодом веке, а старый Путимец, пожалуй, позабыл считать годы и живет. Приятель заехал и к постоялому двору, спросил о старике Гостомысле. И что же оказалось? — старик действительно еще был жив, но уже не торговал и совсем здесь не жил, а «сошел в далекий Нилов монастырь» на Столбной остров,

что среди озера Селигера.

— Зачем ему было так далеко идти на Селигер? — спросил приятель, — ведь Киев ближе, и монастырей там много.

А возмужавший внук Егорка отвечает, что дедушке на Селигере тамошний святой очень нравился.

— Чем же селигерский святой лучше киевских?

— А, говорит, тот преподобнее и дедушке больше по нраву стал.

— Да чем именно?

— А так, что тот, говорит, даже никогда не спал...

— Это невозможно.

— Нет, это, говорит, так верно в житиях писано: никогда не ложился, а только облегался пазухами об острые крючья.

— Ну! Зачем же это?

— Чтоб богу угодить.

— Богу угодить... «пазухами облегался»... Ты это что-то сочинил вместе с своим дедом.

— Нет, не сочинил, — отвечал Егорка и пояснил, что он ездил даже навещать дедушку на Столбной остров и сам видел, как там свя-

ценный статуй деревянный сделан и одет в таком подобии, как святой был, и висит на крючьях, а к нему прикладываются.

— Ну, и что ж? хорошо?

— Боязно, говорит, подходить, если кто грешник, а дедушке теперь, как привык, это за самую радость видеть.

Егорка вздохнул и благочестиво добавил:

— В старости своей достигает.

— Облегаться пазухами?

— Да; писано, что никогда не спал, а только «мало отдыхал, облегаясь пазухами об острые крючья». Дедушка и хотел при таком святом потрудниться, чтобы в самой, какая возможно, черной работе. Просто сказать — он ныне там самые поганые ямы чистит; а дом мне оставил.

Егорка приосанился, поднял широкие плечи и, окинув довольным взглядом свои владения, молвил:

— Теперь заново построились и одни хозяйничаем.

Он смотрел таким же красавцем и, кажется, таким же дельцом, как в былую пору был его дедушка.

Придет, наверно, и для него еще иная пора, когда и он, может быть, «потруднится» и все, что в свое время нагрешит, то пойдет исправлять, «облегаясь пазухами об острые крючья».

Всякая боль своего врача ищет, и всякому достойно позаботиться о том, чтобы «хорошо кончить». Хорошо же, — по некоему старому присловию, — не всегда то, что действительно хорошо, а то, что человек за хорошее почитать склонен.

1883 год